

Книга 1

**Пленник
железной горы**



Пусть расширится твоя голова!
Пусть будет стремительным твой полет!
«Нюргун Боотур Стремительный»¹

¹ Здесь и далее: якутский героический эпос «Нюргун Боотур Стремительный». Вос-
создал на основе народных сказаний Платон Ойунский. Перевел на русский язык Вла-
димир Державин.

Часть первая
Где брат твой, Юрюн?



ПРОЛОГ

Когда земля треснула, мальчик играл на дудке.

Пальцы шустро бегали по отверстиям. Музыка рождалась сама, с легкостью, можно сказать, небрежностью, которая говорила не столько о таланте, сколько о большом опыте. Опыт не слишком вязался с возрастом мальчика, но рядом не было никого, кто удивился бы такому парадоксу.

Земля треснула в финале второй, подвижной части сонаты. Тальниковая дудка сыпала энергичными акцентированными синкопами, двудольный ритм сменился трехдольным, канон наращивал динамику. Вырезанная сложнее, прихотливей, чем обычные пастушьи тихограйки, дудка обладала вполне приличным диапазоном, и все равно чувствовалось, что маленькому музыканту не хватает возможностей для воплощения замысла. Рискуя точностью исполнения, он придал канону сильный, взволнованный характер — и взгорье, поросшее по краю молодым, сочно-зеленым ельником, раскололось яичной скорлупой. Густая трава по краям разлома мгновенно пожухла, свернулась черными колечками и обратилась в пепел — точь-точь волосы в жаре костра. На нижних ветвях елей порыжела хвоя. Те деревья, которым не повезло оказаться слишком близко к трещине, накренились, в судорожном порыве цепляясь корнями за землю. Поблекли, сморщились желтые венчики волчьей сараны — мириады хрупких солнышек увяли, теряя блеск. А разлом ширился, бежал вперед, к луговине и через нее. В нем дышало, дергалось, пульсировало. Так бьется сердце бычка, приносимого в жертву, когда тяжелый и острый нож вспорет животному грудину. От магмы, бурлящей в глубине, от лопающихся вонючих пузырей несло пеклом, губельной бездной Елю-Чёркёчёх. Стаи птиц взлетели к облакам, подальше от кипящего ада, опираясь на потоки горячего воздуха. Заполошный вороний грай накрыл окрестности до самой реки. В чаще ревом откликнулась медведица, тревожась за потомство.

Мальчик играл на дудке. Подвижная часть сменилась медленной. Сложная мелодия развивалась без пауз, не имея цезур для вдоха, что требовало от исполнителя незаурядного мастерства. К великому сожалению мальчика, он регулярно сбивался, нарушал ритмичность исполнения — и хмурился, мрачнел лицом при каждой ошибке.

Он был слеп. Глаза, плотно закрытые веками, не выглядели впалыми, как часто случается у слепцов. Но зрячий, конечно же, не удержался бы, зрячий обязательно взглянул бы на ужасающий разлом, откуда дышала преисподняя. Дудочник даже не пошевелился сверх необходимого. Верхние веки его казались больше, толще, длиннее обычного, со слабо выраженной чешуйчатой фактурой: кованый металл, струпя коросты. Когда разлом придвинулся вплотную, мальчик задергал веками — от страха? от возбуждения? — но глаз так и не открыл.

— Вот ведь, — буркнул он, убирая дудку от рта.

И что-то добавил одними губами: похоже, выругался. Голос у мальчика был низкий, неприятный. Дудка звучала не в пример лучше.

— Кэр-буу! — откликнулась трещина. — Кэр-буу!

Над разломом гуляли, танцевали, колыхались от ветра столбы дыма и пара. Что-то вставало из раскаленной сердцевины, но дым, пар, колебания дрожащего воздуха мешали рассмотреть, что именно. Огненный змей? Спрут, обитатель лавы? Черное, красное, хвост хлещет кнутом, щупальца сплетаются на манер бутона — и вновь раскрываются трепещущим цветком. Змей-спрут поднялся выше, за-костенел, приобрел форму, обернувшись арангасом — помостом, который принято укреплять в ветвях матерого дерева, а не в земных провалах.

— Кэр-буу!

На арангасе лежал исполин. Устроившись на боку, он подпер несуразно большую голову ладонью размером с телянка. Плоская шапка из железа, битого ржавчиной, сползла исполину на ухо, грозя в любой момент свалиться, рухнуть в пламя Нижнего мира и растечься зыбким ручейком. Шапку украшал шлык из облезлого, когда-то густого меха. В частых проплешинах копошились, пожирая друг дружку, странного вида насекомые. Одеядом гостю служила его же собственная доха из лошадиных шкур. Наваленная грудой, словно курган из павших кобыл и жеребцов, она скрывала очертания громадного тела. Можно было лишь удивиться ясно видимой руке исполина: одно-единственное плечо, растущее не по-людски, раздваивалось в локте, образуя пару жилистых, перевитых синими ве-

нами предплечий, каждое из которых украшала когтистая пятерня, способная без труда задушить быка. Так ствол молодой лиственницы расщепляет молния, а изуродованное дерево живет и продолжает расти дальше.

— А-а, буйа-буйа-буйакам!

— Тебе весело? — с кислой миной спросил мальчик.

Исполин подумал.

— Да, — согласился он. — Мне весело.

— А мне нет. Усохни!

— А мне весело.

— Усохни!

— А-а, буйа-дайа-дайакам! Кэр-буу!

Веки мальчика задержались сильнее. Чувствовалось, что дудочник раздражен. На миг даже почудилось, что его верхние веки, чешуйчатые, обманчиво-металлические забрала, — да, вот-вот они поднимутся, открывая...

Что?

— Сыграй мне, — попросил исполин.

Его собственный глаз, как и плечо, был всего один, разделенный посередине вертикальным зрачком. Сверкая над вдавленной, многократно сломанной переносицей, глаз умильно, по-детски моргал. Так малыши пытаются задобрить строгую мамашу, выклянчивая лакомство.

— Ну сыграй! Плясать хочу.

— Усохни!

— Сыграй!

Разлом вокруг гостя сходил, затягивался подживающей раной. Арангас выпустил пару несущих балок, крепко оперся о края трещины. Из-под отвердевшего помоста перестало дымить. Исполин заворочался, едва не сбросив доху вниз, напрямик в ад. С исполином что-то происходило, но, судя по выражению лица мальчика, не то, что требовалось. Заворочался и арангас, отблескивая мокрыми досками — нет, живой плотью, голой и скользкой.

— Еще! — велел мальчик.

— А ты не командуй!

— Я не команду. — Мальчик прикусил губу. Похоже, он лишь сейчас понял, в чем допустил ошибку. Одевался дудочник как взрослый, считай, почтенный мужчина: кожаные штаны, сапоги, распашной кафтан из оленьей замши, с полосами рысьего меха в два ряда. И злился на себя он по-взрослому: так сердится старик, проигравший внуку словесную схватку. — Я прошу. Слышишь, Уот? Я тебя прошу. У меня от тебя голова болит. Усохни, пожалуйста.

- Я не люблю усыхать.
- А я тебе сыграю.
- А я не люблю.
- А я сыграю.
- А я... Ладно.

Исполин сделался меньше. Вместе с ним уменьшились помост, и доха, и шапка со шлыком. С раздвоенной в локте рукой произошли существенные метаморфозы: она задвигалась, приобретая иной, более человеческий вид. Исполин взмахнул обеими новыми руками, облизал вислые губы, фыркнул: такие руки ему не нравились.

Мальчик заиграл веселую мелодию.

— Можешь ведь, когда хочешь, — засмеялся исполин, переставая быть исполином. Он все равно выглядел втрое крупнее взрослого мужчины, но в сравнении с первоначальным обликом это смотрелось приемлемо. Изменилась и речь: повзрослела, будто ребенок, которого ты не видел десять лет. — А я еду, чую: дядя Сарын играет. Дай, думаю, поднимусь, поздороваюсь. Давно не слышал, как ты дудишь. Ты где пропадал?

— В колыбели лежал, — ответил мальчик, ловко закруглив репризу.

Исполин расхохотался:

- В железенькой?
- В железенькой.
- Во второй?
- В третьей.
- В молодильной?
- Ты что, слепой? Сам не видишь?

Несмотря на голос, который по-прежнему оставался не слишком приятным, мальчик постарался убрать из вопроса все конфликтные нотки. Ему, с его слухом музыканта, это прекрасно удалось. Даже вопрос «ты что, слепой?», удивительный в устах слепца, прозвучал без насмешки или укола. Впрочем, во время разговора мальчик вел себя как зрячий. Жесты, поворот головы, мимика, лицо, обращенное к собеседнику, — можно было поклясться, что дудочник, которого исполин назвал дядей Сарыном, прекрасно видит уродливого любителя плясовых.

Наблюдательный зритель отметил бы связь между нервным тиком, когда мальчик вдруг начинал дергать сомкнутыми веками, и изменением размеров чудовищного гостя. А если к наблюдательности зритель добавил бы толику логики, он сказал бы, что и первое, и второе связывала воедино прочная нить — наличие конфликта в диалоге и поведении маленького и большого.

— Да уж вижу. — Хохот клокотал в глотке исполина. — Надолго в Средний мир?

— Навсегда.

— Врешь!

— Уот, ты стал грубияном. Я тебе когда-нибудь лгал?

— Тетя Сабия тоже омолодилась?

— Тоже.

— Хорошенькая стала?

— Красотка. Вот родим девочку, будет тебе невеста.

— Невеста?

Исполин вернул себе все утраченное. Куда там! — стал больше, чем вначале. Он вскочил на арангасе, отчего помост затрясся мелкой дрожью, и пустился в пляс. Музыка? О, музыка сейчас не требовалась Уоту. Доха свалилась с него, и выяснилось, что нога у исполина тоже одна, раздвоенная в колене на две мощных, сильно искривленных голени. Танцевать это не мешало, напротив, Уот двигался с поразительной ловкостью. Кулак бил в ладонь:

— А-а, буйа-буйа-буйакам!

Это напоминало пляску языков пламени в костре. Уот полностью оправдывал свое имя¹: вспльчивый, неистовый, бешеный огонь. Пылал единственный глаз, окруженный буграми жутковатой формы. Длинный язык, трепеща, высунулся вперед на локоть. Сине-зеленый, будто морская вода, язык на конце раздваивался, соответствуя конечностям.

— Кэр-буу! Невеста!

Сарын без одобрения следил за этими проявлениями восторга. Он корил себя, зная, что сболтнул лишнего. С Уотом нельзя было так, без подготовки.

— Усохни, — попросил он.

— А-а, буйа-дайа-дайакам!

— Усохни!

— Кэр-буу!

— Нет, — раздумчиво сказал мальчик. Тальниковая дудка обвиняющим перстом уперлась в гиганта, ликующего все громче. — Не будет тебе невесты. Если ты не любишь усыхать, я не отдам дочь тебе в жены.

— Не люблю! Невеста!

— Вот-вот. Никакой тебе невесты. Ты меня понял?

— Отдай! Невеста!

¹ Уот — огонь.

— Ни за что. Ты должен регулярно усыхать. До самого минимума. Тогда и невеста, и я тебе сыграю.

— Сыграй! Отдай!

— Что для этого нужно сделать?

— Усохнуть? Не люблю...

— Надо, Уот. — Мальчик говорил с исполином, как с сопливым балбесом, отстающим в развитии. — Надо каждый день. Три раза в день, лучше четыре. Еще лучше сутки напролет. Продержишься сутки? Бери пример с меня...

— Убью! — предложил Уот. — Убью, заберу. Буду нюхать невесту, буду трогать. Залезать на нее буду.

— Кого ты убьешь?

— Тебя! Убью дядю Сарына!

С минуту слепой дудочник глядел — иначе не скажешь! — на воодушевившегося гиганта. Чувствовалось, что Уоту чрезвычайно нравится его новая идея. Дергать веками мальчик перестал, но именно сейчас складывалось особенно острое впечатление, что глаза Сарына вот-вот откроются.

— Невесты еще нет, — наконец объяснил он. — Убитый, я не смогу зачать невесту.

— Да! — огорчился Уот.

— Усыхай, я расскажу тебе дальше.

— Расскажешь?

— Да. И сыграю.

— Ладно...

Кряхтя с натугой, словно бедняга, страдающий запором, исполин превратился в человека. Ну почти человека. В первый раз он усыхал в гораздо меньшей степени. Арангас сейчас был ему чрезвычайно велик.

— Когда еще все это будет, — улыбнулся Уот. — Ты себя видел? Тебе не детей делать, тебе соску сосать. А тетя Сабия, небось, еще младше... Сбой системы?

— Нет, все по заказу.

— Ну и ладушки. Кто мне обещал сыграть?

— Плясовую?

— Без разницы. На твой вкус.

Он или забыл, что минутой раньше собирался прикончить дядю Сарына, отбирая силой нерожденную невесту, или не придавал этому значения, как взрослый игнорирует угрозы малыша. Тот факт, что и взрослый и малыш составляли одного Уота, та странность, что малыш выглядел богатырем, а взрослый проигрывал ему по всем стать-

ям, — это беспокоило подземного гостя не больше, чем случайно подлетевший комар.

Рука, раздвоенная в плече. Нога, раздвоенная в колене. Язык, раздвоенный на конце. Вероятно, этот принцип касался не только тела, но и рассудка.

Желая закрепить успех, отблагодарить Уота за достойное усыхание — так дрессировщик поощряет медведя-плясуна кусочком печенья, — мальчик поднес дудку к губам. Но сыграть ему не дали: за рекой, за синими хребтами гор, окружавших долину, громынуло вдвое страшнее, чем при явлении Уота. Что-то упало ниже земли, напрямик в утробу мироздания, и превратило окрестности в детскую погремушку, набитую камешками.

В небе, над стаями кричащих птиц, кружился белый стерх. Слишком крупный для обычного журавля, он был скорее взволнован, чем испуган. Небо за стерхом трескалось, шло извилистыми щелями. В щели лезла пена облаков, густо подкрашенная брусничным соком.

— Не знаю, — ответил Уот на молчаливый вопрос. — Это не наши.

Судя по внешности недавнего великана, оставшейся без изменений, Уоту стоило колоссального труда не вернуться к прежнему ужасающему облику. Пожалуй, это был подвиг, сохранивший исполину способность рассуждать связно.

— Колыбель, — пробормотал Сарын. — Кто-то упал в колыбель.

— Третью?

— Вторую.

— Да ну! Кого-то переделывают?

— Ты не знаешь, и я не знаю. Я давно здесь, в Среднем.

— А я давно там. — Уот указал на арангас, подразумевая разлом тверди. — Ничего, я выясню.

— Не надо. Ты расширишься и забудешь.

— Не забуду, — без особой уверенности пообещал Уот. — Я не забуду, дядя Сарын. Я спущусь, посмотрю.

— Все, проехали. Не наше дело. Как отец?

— Спит.

Заговорив об отце, который спит, исполин чуть-чуть вырос.

— Часто спит?

— Все время.

Исполин вырос еще чуть-чуть. И еще.

— Ты его буди, хорошо?

— Я его бужу.

Он рос и рос, быстро возвращаясь в исходное состояние.

— Чаще буди! — Мальчик торопился, видя, что скоро его перестанут понимать, а может быть, и слушать. — Чаще!

— Бу-у-у! — взревел развеселившийся Уот. — Бужу, да! Беру рогатину...

— Зачем рогатину?

— Надо! Рогатину в семь сажений! Меня верхние адьяраи научили! Беру и всаживаю — под ребра! Кэр-буу! Раз, и под ребра! Он как завопит! Как вскинется! А я бежать! Хыы-хыык! Гыы-гыык! Потеха! Пусть на мамку кричит, пусть лупит...

— Пусть, — со вздохом согласился мальчик. — Рогатина? Прекрасная идея. Ты, главное, буди. Ему нельзя все время спать, пропадет. Не добудимся.

— Спускайся к нам, дядя Сарын! Дам тебе рогатину!

— Спасибо, Уот. Лучше ты ко мне.

— Лучше ты! Вот спроси: зачем? Спроси!

— Зачем?

— Земляное Пузо будить! В две рогатины!

— Нехорошо так о родном отце...

— Хорошо!

— Ну, значит, хорошо. Тебя не переспоришь.

— А-а, буйа-буйа-буйакам!

Позже, когда разлом затянулся окончательно, мальчик, который не был мальчиком, еще с полчаса поиграл на дудке. Затем он встал и пошел домой: в насмерть перепуганный грохотом поселок — и первым, сопровождавшим приход Уота из-под земли, и вторым, ознаменовавшим чье-то падение с небес. Следовало успокоить людей, вернуть им уверенность в завтрашнем дне. До истории, которая произойдет с другим мальчиком — вне сомнения, мальчиком, и никем иным, — оставалось без малого двадцать лет. Но дудочник знал: когда Юрюн Ар-тойон, Белый Владыка, создавал время, он создал его достаточно. Еще он знал, что если кто-то и создал время, так уж никак не Юрюн-тойон. Впрочем, вступать по этому поводу в дискуссии Сарын-тойон, больше известный как Первый Человек, не собирался.

ПЕСНЯ ПЕРВАЯ

Смотри, будь примером людям во всем,
Будь прямым, как стрела
О трех остриях!
Будь прославленным, смелым бойцом,
Как острога о восьми остриях...

«Нюргун Боотур Стремительный»

I

Хороший стрелок — сердитый стрелок

— В колоду неинтересно.

Кустур опустил лук и почесал кончик носа. Он всегда так делает, когда думает. Или когда не знает, чего хочет. А случается, просто так чешет.

— Давай подальше отойдем, — предложил я. — Только стрелы сначала вытащим.

— Ну-у, давай...

Со стрелами пришлось повозиться: засели, гады, хоть зубами тыни. Кустур достал ножик, принялся расковыривать сухое дерево.

— Хорошие наконечники! Если они в деревяшку так входят...

— А то! — воспрял Кустур. — С такими хоть на волка, хоть на рысь...

— Отец не заругается?

Отец Кустура — кузнец. Нам, вообще-то, железные наконечники на стрелы ставить нельзя. Железные — для взрослых боотуров¹ и охотников. Но когда Кустур разжал ладонь и на ней звякнула-блеснула целая дюжина — смотри, чего принес! — разве ж можно было отказать?

— Не заругается. — Рот Кустура расплзся в улыбке до ушей. Того и гляди, щеки треснут. — Ты мне верь, я честный-пречестный.

— Он что, разрешил?!

— Разрешил, да не он! Я их сам отлил! И заточил.

¹ *Боотур* — богатырь. В другом значении — специально обученный воин-профессионал, дружинник.

Похоже, не врет. Вон от гордости чуть не лопается. Ну и правильно! Если сам сделал — есть, чем гордиться.

— Здорово!

— Нож видишь? Тоже сам ковал.

Нож, честно говоря, у Кустура дрянь дрянью. Зато своими руками кованный! Отец его третий год учит. Вырастет — тоже кузнецом станет. Старики рассказывали, отец Кустура — кузнец в восьмом колене. А Кустур будет — в девятом. В девятом колене можно великим мастером стать, каких и земля не знала, и небеса не видывали. С другой стороны, род родом, колено коленом, а учиться все равно надо. Еще как! Всех чему-то учат, кроме меня. Ты, Юрюнчик, сын Сиэрт-тойона! Тебе, Юрюнчику, отроду все дано. Не надо тебе ничему учиться! Вот съездишь в Кузнию, солнце наше, все узнаешь-сумеешь...

Я им что, наконецник? Ножик?!

— Давай с того пригорка?

— Далеко-о... А, ладно, давай!

Я оттянул тетиву до самого уха. С презрительным фырчаньем стрела вспорола листву и исчезла в зарослях орешника. На целых два кулака выше! Ну вот, теперь стрелу искать...

— Кырык!¹

Кустур победно вскинул лук над головой: его стрела глубоко вонзилась в верхний край искромсанной колоды. Вот вам и «отроду»! Вот вам и «дано»! Вот вам и сын Сиэрт-тойона, которому учиться — зря время тратить...

Позорище косорукое! Слепыш землеройный!

Я давно заметил: если сержусь, все начинает получаться. Сердиться лучше на кого-нибудь. Еще лучше — с оружием в руках. Жаль, на Кустура злиться не за что, а больше рядом никого нет. Остается ругать самого себя. Тоже помогает, но не так хорошо. Вот, уже лучше: попал. Правда, в самый краешек...

— Кырык! Кырык! Смерть тебе, подлый адьярай!

Говорят, у злобных выходцев из Нижнего мира рожи на пеньки похожи. Если так, тогда да: колода — в точности башка адьярая. И вся стрелами утыкана. Кустур молодец: ни разу не промазал.

— Ворона!

— Где?

— Вон...

— Ага, вижу.

У Кустура стрелы кончились. Пока будет за ними бегать, ворона улетит. А у меня одна осталась.

¹ Победный выкрик. Аналог «ура!» в военной обстановке.

— Далеко, не попадешь.

— А я и не собирался! Зря птиц бить Бай-Баянай не велит.

— Ха! Станет Бай-Баянай ворон считать! Других забот у Хозяина Охоты нет! Если стрелять не собирался, чего лук поднял?

И правда, чего это я? Даже не заметил, как стрелу на тетиву наложил. Далеко, прав Кустур. Промажу. Я и в колоду-то не очень, а тут... Добить бы до осины, где ворона сидит, — уже подвиг!

— Ну, поднял. А потом про Бай-Баяная вспомнил.

— Ври больше!

— Это я вру?!

— Сам знаешь: не попадешь! Вот и припелл Хозяина Охоты.

Жарко. Уши — раскаленные головешки. Щеки — груды рдеющих угольев. Со мной всегда так. Если совру, краснею хуже девчонки и в жар бросает. А уж если уличат во лжи, тогда совсем — костром горю, ярким пламенем. Меня один раз водой окатили: остынь, дурачина! В шутку, значит. Я не обиделся, смеялся вместе со всеми. Нет, честно, не обиделся! Ну, может, чуть-чуть... Не умею, не умею я врать!

— Дай стрелу, а? Я не промажу!

Ворона каркнула с презрением. И еще каркнула. И еще. Ее карканье сожрало все звуки. Журчанье ручья, шелест листьев, щебет других пичуг — все-все, без остаточка. Пошло гулять эхо над аласом¹: от темной стены сосен за ручьем до крайних юрт на взгорке. Кар-кар-кар! Известное дело, воробы беду приносят. Сейчас ка-ак накарает!

— Юрюн, дай стрелу! Ты все равно промажешь...

Я промажу?!

В глаз угодила соринка. Я моргнул, соринка исчезла, а ворона вдруг оказалась близко-близко. Хоть пальцем в нее тыкай! Вся нахохленная, будто мерзнет: перья встопорщены, глаз косит со злобой. Птица переступила с лапы на лапу, и черная бусина глаза уставилась прямо на меня. Клюв начал медленно раскрываться... Беду пророчить вздумала? Не успеешь, горевестница!

Плохая ворона. Плохая ворона.

Очень плохая ворона.

— Юрюн...

Возле уха мягко прошелестела тетива. Стрела ушла в полет. Будто что-то почувствовав, ворона заполошно взмахнула крыльями, спеша сняться с ветки. Но я знал: я не промахнулся.

Знал, и все.

¹ Алас — луг или поле, окруженные лесистыми горами; долина, окруженная лесом.

У меня лук взрослый

— Ну ты даешь! Прямо в глаз!

Кустур все продолжал восторгаться, никак не мог успокоиться. Приятно, когда тебя хвалят! И стыдно чуть-чуть. Кустур сегодня тоже хорошо стрелял.

— Ты бы и сам попал. Просто у тебя стрелы кончились.

— Ну... Наверное.

— Точно говорю, попал бы.

— Только не в глаз! Так один Дюлустан-боотур умеет!

— Еще Манчары-охотник.

— Да, Манчары может. Манчары, Дюлустан и ты!

Ворону я закопал под осиной. Не в суп же ее класть. Хотя Кустур ругался, кричал: в суп, в суп! Гляди, мол, какая жирная! Его мама из ворон такую вкуснятину готовит: пальчики оближешь! Мучицы туда, дикого лучка, маслица топленого... Цыц, велел я. Кто убил, тот и закопал. Кустур бухтел, злился, а я попросил прощения у вороньего духа: пусть не сердится на меня. И у Бай-Баяная, Хозяина Охоты, попросил. Верных слов я не знал — меня ведь ничему не учат! — но сказал от души. Сестра говорит: слова — не главное. Главное — голос сердца. Голос сердца любой дух услышит. Потом я вымыл стрелу и руки в ручье, ниже того места, где женщины воду берут. Вроде ничего не забыл.

Пока мы собирали стрелы, Кустур чесал нос без перерыва. Думал о чем-то, морщил лоб. Губы кусал, аж до крови.

— У тебя лук взрослый, — выдал он наконец.

— Ну да, взрослый...

До двенадцати весен взрослые луки нам запретны. И железные наконечники на стрелы. И еще много чего. Что кому положено, а что нет, я хорошо знаю, пусть меня и не учат. Будешь тут знать, если твой отец — Сиэр-тойон, Закон-Владыка!

— Охотничий у тебя лук. Настоящий.

— Ну да.

— Как у Манчары.

— Ну да.

Надоело мне нудакать. Повернулся я к Кустуру:

— И что?

Табунщик Ивачан мне сперва детский лук смастерил — он всем мальчишкам луки делает. Он смастерил, а я сломал. Разозлился, что

мажу все время, натянул со всей дури... Тетиву порвал. Ивачан головой покачал и двойную мне поставил, крученую. Из сырой бычьей кожи. Я через пару дней опять рассердился — лук треснул. Тогда Манчары мне настоящий сделал, охотничий, как у него самого. Из листовницы и березы, а рога костяные. Ну, не совсем костяные, с дощечками-держакками.

Я думал, меня ругать будут. Нет, никто не ругал, ни за тетиву, ни за лук. Старший брат Мюльдюн-бэгё¹ объяснил: это я *расширяюсь*. Сила боотурская во мне просыпается — врожденная, семейная. Мол, так и должно быть. За что ругать? Вот съезжу в Кузню, обзаведусь доспехом-оружием, войду в полную силу, стану настоящим боотуром — и все у меня наладится. Если и буду рвать-ломать, так только нужное, правильное. Врагов, например. А пока...

— Вот ты и попал!

— Потому что у меня лук охотничий?

— Ага!

Ага, на лбу рога! Кто только что сам говорил: всего двое могут? Дюлустан-боотур и Манчары-охотник?! Луки-то хорошие у многих, а воробу в глаз, да с пригорка...

Хотел я сказать это Кустуру, посмотрел на него — и прикусил язык. Он же не виноват, что у него отец — кузнец Тимир, а у меня — Сиэр-тойон. Я-то уже понял: я когда моргнул — разозлился. Значит, *расширился*. Как в песне поется: «Пусть расширится твоя голова! Пусть будет стремительным твой полет!» Кустур так не умеет. У него голова если расширится, сразу же лопнет. И никто в нашем улусе² не умеет. Только моя семья. Ну, еще другие, вроде нас — айыы.

Есть люди, а есть айыы. Обычное дело.

— Пузо скулит, — вздохнул Кустур. — Пожевать бы чего, а?

— Беги домой, жуй!

— Рано еще. Мать заругается.

Он скорчил потешную рожу, затащил высоким женским голосом:

— Вот вся семья за стол сядет, тогда и приходи, проглот!

— Пошли ко мне! Моя не заругается.

— Врешь!

— Да ну тебя! У нее всегда сливки свежие есть...

— Сливки? — Кустур оживился. — Взбитые?

— Ну!

¹ Бэгё — силач. В другом значении — воин-профессионал, происходящий из воинского рода.

² Улус — люди, народ, племя. В данном случае — поселок, стойбище.

- С мукой?
- Ну!
- С брусничкой?
- С малинкой! С шикшей! Со всем на свете!
- А точно не заругается?
- Точно!
- Тогда пошли! Побежали!

И мы пошли. Мы побежали — наперегонки. В итоге вышла ничья: оба запыхались и снова перешли на шаг. «Из такого лука конечно!.. Из такого лука и горбун попадет, и калека... — бормотал по дороге Кустур. — И безрукий попадет...» Сам себя убеждал, что ли? Я молчал. Ну да, завидует. Что же мне теперь, нарочно промахиваться, чтоб он не завидовал? Вот вернусь из Кузни, привезу настоящий боевой лук, а этот Кустуру подарю. Точно, подарю!

Пусть радуется!

Мы поприветствовали табунщика Ивачана. Теперь нескоро его увидим: завтра ему гнать лошадей в предгорья, там трава сочнее. Миновали обширное утоптанное поле-тюсюльгэ, где собираются на празднества и сходы. Обогнули две дюжины юрт — нарядных, обмазанных свежей белой глиной — и выбрались к нашему дому.

К дому Сиэр-тойона, моего отца.

— Все потому, что у тебя лук охотничий, — сказал Кустур. Он снова улыбался: не умел долго сердиться. — А еще потому, что у тебя отец — бог.

3

Дом без равных

— Ну бог. И что теперь?

Я разозлился на Кустура. Зачем повторять то, что все и так знают? Кустур открыл рот, подумал немного — и закрыл. Не нашелся, что ответить. Наверное, нос почесать забыл. Я полюбовался его растерянностью, и вся злость прошла.

— Пошли! Ты же есть хотел!

— Ничего теперь, — с опозданием откликнулся он.

— Идем, говорю!

— Я лучше тут постою...

Он стоял и глазел на наш дом, будто видел его впервые. Вот так всегда! По десять раз на дню мимо ходят, ездят, бегут, ковыляют — и хоть бы хны. Мазнут взглядом и дальше топают, по своим делам.

А стоит кому во двор зайти — хоть мальчишке, хоть взрослому, — встанут столбом и глазеют, пока не окликнешь.

Наш дом в улусе один такой. У всех — юрты: бревна, жерди, прутья — каркас. Все это глиной замазывают, с сенной трухой и коровьим навозом. На зиму дерном утепляют. По весне — белой глиной кроют, для красоты. Внутри — камелек, лавки, котлы-посуда. Занавески для женской половины. Улус у нас дружный: если стройка, все соседи на подмогу спешат. Два-три дня — и готова новая юрта. Пожалуйте справлять новоселье!

А у нас — дом. Комнат внутри — тьма-тьмушая! Заблудиться можно. Говорят, девяносто сажен в длину. Я не мерял, но согласен. Опорные столбы — из лиственницы, самой лучшей. В наших лесах эти лиственницы не растут. Небось, издалека привезли, с Верхнего неба. Снаружи дом на солнце так и сияет — глазам больно. Дедушка Сэркен Сэсен приезжал, на сходе пел:

Силою исполинов-творцов
Сотворенно построен был
Тринадцатистенный дом
Из цельного серебра,
Полный всяческого добра;
Сверкая кровлею золотой,
На девяносто сажен в длину
Раскинулся этот дом;
Девяносто окон больших
Прорублено в доме том,
Равного которому нет...

Я думал, он про наш дом поет. Все верно описал: и стены из серебра, и крыша золотая, и всяческое добро. У нас в доме много всякого-разного, ни у кого больше нет. Стен, правда, не тринадцать, но это ерунда. А оказалось, он про дом Первых Людей поет, в Среднем мире. Ну и что тогда значит: «равного которому нет»? А наш дом?

Мне даже обидно стало!

Много позже я узнал, что таких домов не один и не два. Они и впрямь похожи друг на друга, как капли воды. Типовые, объяснила сестра. Она у меня шаманка-удаганка, все что хочешь объяснит. Дедушка Сэркен и про нее пел: «Заклинательница восьми небес, врачевательница девяти небес...» А чудо-лиственница, что пошла на столбы — никакая не лиственница. Это вообще не дерево. И камень, из которого порог сложен, — не камень. И золото-серебро... Стоп! Золото-серебро — это да, золото и серебро. Но только сверху, тонким

слоем. Для красоты и солидности. На деле же под золотом и серебром — совсем другой металл. И добро б только металл! Тринадцать разных слоев — не зря дедушка Сэркен «тринадцать стен» помянул. Зачем столько — мне сестра тоже объяснила. Я вроде бы понял, но это очень сложно. И долго рассказывать. Короче, чтобы каждый сразу видел: здесь живут солнечные айыы! Чтобы проникался уважением, а еще лучше, благоговением. Они и проникались, в точности как Кустур: тарасились, будто суслики на курганчиках.

— Кустур, отомри!

Я тряхнул приятеля за плечо и чуточку перестарался. Кустур отмер, охнул, заморгал, будто спросонья.

— Пошли в дом, говорю! Есть будем.

— Не-а...

— Я тебе обещал!

— Не, Юрюн, я лучше тут подожду. Во дворе. Ты мне сюда еду вынеси, хорошо? А то солнечная Нуралдин-хотун заругается!

— Я же сказал: не заругается!

— За еду — нет. А за то, что я в дом суюсь, — еще как!

Прав Кустур. Совсем из головы вылетело: мама не любит, когда к нам люди из улуса заходят. В смысле, обычные люди, не айыы. Кроме слуг, понятное дело. Ну или тех, кого отец пригласил. Но он редко кого-то приглашает. Мы всех любим, говорит мама, но снаружи. А мне звать гостей не положено. Может, после Кузни...

— Ладно, жди здесь. Я быстро!

— Сливков вынеси! — ударило в спину.

— Вынесу!

Порог у нас высокий, дверь — тяжеленная, кованая. Если кто чужой сунется — с места не сдвинет, будь он хоть трижды боотур! Начни адьярай ломиться, башку расшибет. А я ее одним пальцем открываю. Думаете, я такой сильный? Нет, это просто наш дом.

Дом меня знает.

4

Отец суров, но это отец

— Папа, ты занят?

Отец не ответил. Закинув ноги на перила, он сидел на задней, особенной веранде дома, где, кроме него, не разрешалось сидеть никому — только если папа позволит! — и смотрел на горы. Сколько себя помню, он всегда смотрел на горы. В любую погоду. Далекие

синие хребты — Сизр-тойон мог любоваться ими бесконечно. Открытые взору в солнечные дни, затянутые дымкой по утрам, утонувшие в дожде, пурге, тумане, набросившие на плечи искристую снежную порошу — горы, горы, горы. Словно там, за ними, крылось счастье — желанное, недостижимое.

— Ты занят?

Думаете, я сразу на кухню побежал? За сливками? Нет, я сперва к папе. Кустур подождет, ничего. Не помрет же он с голоду, правда? А я знаете сколько ждал, пока папа на веранду выйдет? Иначе мне его не поймать, чтобы с глаза на глаз. Сплю я плохо, вот что. Пакость разная снится, и все про меня. Ну да, боюсь. Беспокоюсь. Стыдно признаться, по три раза за ночь по нужде бегаю — вот как переживаю, словно маленький. Загрохочет где — бац, душа в пятки. Это, наверное, Мюльдюн вернулся, сейчас скажет: «Одевайся, пора...»

— Если ты занят, я...

Ну конечно, он не был занят. Когда Закон-Владыка бывал занят, это слышал весь дом. Я спрашивал так, для приличия. Отец пошевелился, плотнее укутал ноги дохой из темного, почти черного соболя. Доху подарила ему мама на день рождения. Отец всегда мерз, даже в лютую, по моему мнению, жару. Мерз он странно: снизу. Носил ровдужные¹ штаны на подкладке, набрюшник из седого бобра, кожаные ноговицы, поверх — суконные чулки, и все равно при первой же возможности мой любимый папа устраивал ногам парную.

Торс и плечи у отца были равнодушны к морозу и сырости. А шапку он снимал и клал рядом. Когда-то я пошутил на этот счет — не помню, как именно, но неудачно, — получил от мамы такую таску, какой сроду не огребал, и завязал с шутками в папин адрес.

Протянув руку, отец взял чорон — его личный резной кубок для кумыса, — не торопясь сделал пару глотков, вернул чорон на столик и благодушно ответил:

— Рад тебя видеть, Юрюн.

Меня он не видел, продолжая созерцать горы. Но я привык. Благодушие отца, его расслабленность, его лавка со спинкой в виде — да-да, вы поняли! — горного хребта, его чорон, его бурдюк с кумысом, который мама время от времени меняла на полный, его одежда — об ином отце я и не мечтал. Поведение, которое иные сочли бы равнодушием, — меня все устраивало.

Сейчас, много лет спустя, я задумываюсь: почему? Как же так? Ведь была тысяча поводов обидеться насмерть. И отвечаю сам себе: любовь. Я любил отца такого, какой он есть, вот и вся разгадка.

¹ *Ровдуга* — хорошо выделанная оленья или лосиная шкура.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга 1 ПЛЕННИК ЖЕЛЕЗНОЙ ГОРЫ

Часть первая. Где брат твой, Юрюн?	7
Часть вторая. Сторож брату своему	215

Книга 2 ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ

Часть третья. Брат без брата	351
Часть четвертая. В ожидании Нюргуна	475
Часть пятая. Семейная сага	609